

...Мужичок из породы бывалых, с лицом довольно мелким и бесцветным, словно ежедневная газета, похоже, бухгалтер, молча лезет на верхнюю полку и уже оттуда вниз спускает большой баул с едой, которой можно накормить весь вагон. Далее по ходу действия он так же молча встанет, поест, будет ходить, словно на работу, в туалет и двинет из вагона, но не из сюжета.

Все персонажи рассаживаются по местам, почёсываются, дирижёр берёт в руки дирижёрскую палочку, глядь, а там и тронулись.

И вроде бы уже запрыгали на одиноких полустанках жидкие фонари, словно очки на переносице, небо накренилось над окном и плавают звёзды, как рыба в аквариуме.

Поезд тоже поначалу как-то нехотя, словно задумавшись над чем-то, начинает размеренно считать шпалы от Москвы, а потом, словно увлёкшись, пронзает ватное пространство марта. Он бежит, не оглядываясь, как ошалелый заяц, будто кто-то гонится за ним, сосредоточенно и угрюмо. Так хитрая мышь прячется в норку, или шорник (по происхождению вылитый шорец) шершавыми пальцами продевает суровую нитку сквозь игольное ушко. Рессоры весело подбрасывают вагон на стыках, время стежками намётывает на скорую руку маршрут.

Километры, станции, люди, годы, жизнь. Вагонный ёксель-моксель! На верхней полке, омонимичной моей, стонет сосед с перепоя. Стонет безнадежно и глухо, уткнувшись носом в подушку. Надрался он, видимо, ещё в Москве. Конец зимы, света, жизни край, кругом не видать ни зги, вот и сподобился.

Крепко, обстоятельно. Он довезёт этот обстоятельный хrap до Ростова. А после сползёт вниз, словно мглистая полутьма с тёмных верхушек сосен, вытягиваясь в полный рост и упершись, словно атлант, в небо. Смотрит окрест печальным и мутным взглядом падшего ангела, пытаясь совместить фокус, явь и сон. Куда он едет? Он, наверное, и сам ещё не знает. Дорога долгая, жизнь короткая. Поэтому он заказывает для прояснения ситуации чаю. Пьёт обстоятельно, долго, крихтя и отфыркиваясь, вычёрпывая пространство, словно сом на дне реки, до Ярославля, серая его шея побагровеет и покрывается испариной. Но взгляд всё такой же мутный, как вечереющая даль. Потом он лезет, слово паук в тёмный угол, обратно.

Дети, перевернувшие вверх дном вагон с полками и проводника с чаем, оба разом спрашивают его, когда он, фокусируя взгляд, всматривается в игрушечный ствол пистолета, наставленный на него, кто он таков и куда путь держит. Мужик тяжело вздохнёт и прошепчет горячими губами, вернее, прошепестит губами, как рыба:

— До Перьми, а потом — до Кудымкара.

— Куда? — переспросит его ребёнок испуганно.

И потом я долго верчу на языке это загадочное слово “Кудымкар” и даже невольно проникаюсь к нему уважением, поскольку не знаю, где это.

“Кудымкар, Кудымкар!” — повторяют вагоны, и от стены в Мытищах отделяется бесплотное эхо и улетучивается, и становится будто бы небесным Кудымкаром.

— На Кудыкины горы, — печально провиснув между полок, ответит сам-сом и бутыхнется, словно в аквариум, на полку. Впрочем, долго ещё огромная чёрная тень его будет ворочаться под потолком, как куль.

Но это будет позже, а пока он спит. Ему снится март и снег, и что всё это перемешалось, и что поездка — это судьба и никогда не кончится, что тепла никогда не будет...

А что будет-то? А будет — Кудымкар! Вечный озяблый, как будто вечерний перрон. Кудымкар, куда ни глянь, куда ни плюнь... Он спит и стонет.

А по вагону толкутся, долго и безнадежно, словно танцуют свой танец в замедленной съёмке, буряты, таджики, тринадцать и прочая тмутаракань в майках, шортах и тапочках. Эти люди будто исходят из зимы, из стужи туда, где тепло, туда, где не Кудымкар. Кажется, что они в этом вагоне жили всегда, родились и умрут тоже, видимо, здесь. Во всяком случае, они так задумчиво смотрят в окно и зевают, как будто это главное занятие их жизни.

А может, вся эта тринадцать двинула в Абакан? Куда ей ещё и ехать, как не в Абакан? И всё, что ни есть, тоже едет в Абакан: стаканы с подстаканниками, бухгалтер с мохнатыми подмышками, вертлявые девицы с упругими попами, ширококостные, словно Волга, бабы с пуховыми платками, и я, хотя мне туда не надо.

А вот — однако ж.

Мне вроде бы выходить в Ярославле, но если поезд, поперхнувшись ветром, минует вокзал, то и я поеду дальше, до Абакана, и туда дальше. До Кудымкара, до конца и краю, дотуда, где никого, — ни бурят, ни шиша!

А за окном свалтузилась, словно пододеяльник, снег и тьма, и коридор раздвинулся, занавес приподняли, и актёры с удивлением обнаружили, что в зале они не одни. И за кулисами тоже — всё те же: буряты, таджики, бабы, зевающие, как кашалот. И там они тоже смачно зевают и смотрят со сцены в зал, словно собираясь воссоединиться с теми, кто в вагоне, в огнях и мелькающих интервалах слов. И вообще весь мир — это поезд “Москва — Абакан”, это буряты в майках, и вообще. И люди тут все широкоскулые и с хитроватым прищуром, они косопалые, шоркают тапочками, спят, жизнеподобно хохочут, храпят, едят какую-то пахучую колбасу, от которой ползёт по вагону могучий дух. И даже кажется, зверь должен перевернуться в берлоге, учуяв запах этой колбасы, которую едят все. И вообще мир лежит на трёх китах или на трёх палках колбасы. И так есть, было и будет всегда.

“Кудымкар, Кудымкар!” — повторяют шпалы.

Я выхожу в тамбур... В окне проплывают в тревожном, сереньком сумраке избушки, подбегают к вагону холмы; тусклый ельник, обсыпанный,

словно сахарной пудрой, в тревоге припадает, будто усатый контролёр, к стеклу, оставляя на его поверхности туманную дымку; снуют туда-сюда бурята, размноженные светлым прямоугольником окна на несколько совершенно похожих друг на друга копий. Столбы встают глухим забором, рельсы вздыхают на стыках, шпалы стучат лбом о стеклянный пол, злые и бодрые ветры гудят в проводах.

Поезд мчится в чистом поле...

Проплыл вдалеке, словно бесхозный сон мужичка из Кудымкара, Ростов. Из-за груды кургузых пятиэтажек показались луковки куполов, по платформе бегают букашками с баулами новая армия пилигримов до Кудымкара.

Я возвращаюсь в вагон, словно на родину после долгой разлуки. На полке с краю — важный, словно верблюд, армянин, он цедит из фляжки коньяк и читает газету. Ну да, как же это я забыл, в поезде испокон веков читают газеты, и я зачем-то вспоминаю редактора одной из газеток по фамилии Сизый.

Сизый редактировал газету, которую, впрочем, никто не читал, а сразу выкидывали в помойное ведро, но не в этом одном была загвоздка. Все, кто видел Сизого, не понимали, как же это он вот так выпускает газету, когда он пьяный сутки напролёт. Сутки напролёт Сизый парил над землёй, над развернутыми там и сям провалами и безднами; его тщедушное тельце обдували холодные космические ветры, метеориты прошивали простор яркими вспышками, чёрные дыры чмокали его в небритые щёки. А он летал туда-сюда и не понимал, что делает тут, на этой грешной земле, вся эта прорва народа, для которой он выпускал газету, которую никто не читал. Почему они все время орут, и чем они недовольны? Что им всем, места, что ли, мало? Так пускай летают в космосе, здесь всем места хватит.

— Люди, ау!

Сизый изредка, когда совсем стемнеет и не видно ни зги, заходил на посадку; пуская последний пучок искр, он приземлялся на грешную землю, и ему становилось скучно и плохо.

Плохо русскому человеку, когда он проспится. Когда он хмур, как Кудымкар.

И Сизый устало пинал резиновую шину колеса своего большого серебряного звездолёта, снимал скафандр, а под ним было лицо человека, уставшего от жизни. Серое, совершенно сизое лицо человека, уставшего от глупости, от необходимости выпускать газету, которую никто не читает.

Бессмысленность человеческого существования ужасала Сизого. И наустро, едва забрезжит над космодромом рассвет, он опять надевал скафандр, откручивая привычным жестом плотную пробку шлема по часовой стрелке, садился в звездолёт и устремлялся к звёздам! Туда, где тихо и светло, свободно и никто не пихает нервно в бок. А газета выходила сама собой, по инерции, по заранее заведённому графику, как ходят часы, как отправляются с космодрома звездолёты в бескрайнее космическое пространство.

Однажды, помню, мы очутились с Сизым в одной из поездок. Кажется, в Армении. Из комнаты в комнату Сизого носили на руках соратники по борьбе. Его ноги не поспевали вслед за телом, они болтались бесхозно и сиротливо, словно чужие, ноги не Сизого, а тряпичной куклы. Борьба Сизого с демонами была нешуточная. Поэтому его кантовали, словно посудный набор, очень бережно. Следовало даже и надписать на боковой стенке: “Осторожно — идёт напряжённая духовная жизнь!”

Чем больше и чаще усугублял Сизый, тем румяней становился плотный упырь с диатезным румянцем во всю щеку по фамилии Кровопусков. Однажды, когда всех пригласили на встречу с самим президентом, Сизый вдруг внезапно протрезвел и испуганно озирался по сторонам:

— Кто эти люди, что они здесь все делают? И почему они — не птицы и не летают?

Когда фотограф делал фотографию на память, Сизого поместили в самый центр, и его круглая голова и по сей день с испугом и удивлением смотрит по сторонам, а вот её хозяин умчался на звездолёте ввысь и обратно вернётся не скоро.

И вот теперь этот армянин, читающий газету, — словно привет от Сизого!

Под утро, когда рассвело, вагон стал как-то просторнее, словно тесный башмак, наконец, разносили. Вещи, всё это дорожное барахло: безразмерные сумки и баулы, подагрические коляски, — которого было так поначалу много, что казалось, всему и не влезть в это паровозное чрево, и поезд просто чихнёт и подавится. Смешно сморщившись, чихнёт, и все эти пакеты, тапочки, огромные, похожие на кепки и авоськи бюстгальтеры, шаровары и пластиковые бутылки, шмотьё разлетается по белу свету.

Но — нет, всё утрамбовалось, поезд, словно дюжий носильщик с бородой, подпрыгнул, крикнув, его швырнуло из стороны в сторону, но он устоял и пошёл себе дальше, чёрт его знает куда...

Всё так же пахнет колбасой, и всё так же спуют туда-сюда неутомимые буряты. И Кудымкар после чаю уже спит, придавив к полке собственную тень, тяжело ворочаясь в аквариуме.

Кудымкар. Преддверие его, предчувствие, чаяние его выплывает из огней, горящих далёкими звёздами. После того, как “Москва — Абакан” притормаживает, весь пейзаж за окном вдруг обрастает большим количеством деталей: маслянистые рельсы, прочная бетонная стенка, выгнувший спину, как кот, мост, льдистая речка, перрон с фасадом вокзала и часами, как театральные декорации, наспех вынесенные на сцену.

Городу уже некуда деваться. Он вырастает квадратной спиной вокзала, как старый знакомый, и улыбается в усы. Серенький закат полощет над головою сизое знамя вечера... Меня встречают так же машинально, как и всё, что происходит в конце марта. Все действующие лица пьесы перемещаются в чёрную “Волгу”, и моя спутница, бледной, испуганной тенью вжавшаяся в сумерки, о чём-то давно говорит, словно жалуясь. Словно она говорила ещё до того, как я приехал. И говорит, скорее всего, не мне, а себе, а я тут просто подвернулся, как суфлёр в будке, по-собачьи ставшей на четыре лапы.

Вот и разговорились... Разговор нас гонит волною в ворота пансионата с сонной консьержкой, полногрудой луной и призраком дворника, устало подметающего тени под фонарями. Ночь очертила вокруг фонаря серебристую корону. Буфет закрыт, мыла в туалете нет, вода пахнет ржавыми трубами, но зато — тишина и свежий воздух. Главное, что никто не спит. Уже это хорошо. Всё остальное не так уж и важно.

Не так уже и важно, зачем я приехал, хотя точно знаю, что завтра вставать рано, а ложиться поздно.

Тишина такая плотная и основательная, словно дубовая дверь. Занавеска полощется в потоке свежего воздуха, как птица, попавшая в сети. Душа начинает томиться. Хочется выпить. Но выпить не с кем. Буфета нет, как и не было. Консьержка предупредительно вежлива, как все замужние и некрасивые барышни. С нею даже как-то флиртовать не хочется на голодный желудок. К тому же завтра рано вставать.

Командировочный флирт скороспел и краток, как доклад о перспективах амфибрахия. Какие уж тут перспективы?!

...А наутро снег на солнышке искрился, словно кошачья шерсть в темноте. Длинные голубые тени деревьев и веток, сотканных из паутины, прострочили тишину. Лес сквозит голубизной и холодом.

В залах старинной усадьбы тихо, и кажется, что и пыль, как и посетители, которые ходят бесплотно в войлочных тапочках, тоже из войлока, чтобы только не было слышно шума. Шум может разрушить это мартовский сон. Эту старинного хрустала сказку.

В барском предбаннике, где отряхивают валенки, возле батареи спит мохнатый шерстяной носок по имени Кузя. У Кузи на ушах по звёздочке (“лейтенантские”, — шутили охранники). Серый в полосочку лейтенант внутренней службы, валяжный и толстый.

С фотографий на меня удивлённо, словно тоже, как и я, недоумевая, смотрит бывший хозяин этой усадьбы с длинной бородкой и бурятским прищуром. Его жёны, братья, длинная вереница родственников и любовниц населяют пустынные комнаты со скрипящими половицами и музейной тишиной.

Квадратный ломберный столик с потёртым газоном, старинный комод и шкаф с наполненным зеркалом замирают в почтительном старомодном реверансе.

Солнце раскрывает потускневший от старости интерьер. В будуаре со стены над туалетным столиком улыбается француженка, к которой барин очень благоволил, и она отвечала ему взаимностью.

За балконом, возле берёзовой аллеи, замер домик его полоумного брата. Окна слален выходят в парк с голубыми сугробами, замерзшей купальней, забором, развалинами винокурни, деревней, прилипнувшей к усадьбе, как жена к мужу. Сугробы, словно туннели метро или мышьиные проходы в снегу. Выше неба. Человечишко пошёл и пропал тут с головой. Лишь шапка торчит.

Я пью чай, моя знакомая, словно вспомнив вчерашнее, опять возобновляет начатый и незаконченный разговор, который она вела ещё до моего приезда: её бывший муж, адвокат Фогхт, занимается должниками, обкладывая их со всех сторон, скрупулёзно накидывая петельки, и душит, душит, он и её чуть было не задушил...

Фогхт с аккуратной серебряной бородкой и длинными, цепкими, как у гинеколога, пальцами, — немец, а немцы безжалостны. Фогхт методично вынимает из неё душу. Железными щипцами, холодными щупальцами, длинными пальцами. Штандартенфюрер Фогхт!

Мне жалко эту маленькую женщину с голубыми глазами, ставшими от печали прозрачными. Она словно закуталась в свою печаль. И она идёт ей, как и худоба. Она субтильна, призрачна, как и всё, что связано с поэзией. Всё печально на этой земле, а ещё больше — усадьба и фамильная усыпальница, в которой провалился пол.

Всё это: и стихи, и старинные портреты в рамках, и борода — всё кажется сказочным и неправдошным. А борода уже отделилась от хозяина, она уже театральный реквизит. Реквизит поэта XIX века.

Правда в том, что был, есть и будет адвокат или гинеколог по фамилии Фогхт, немец Фогхт, который душит всё, что подвернётся под руку.

Фогхт не пускает тепло и весну задушил. И солнце, верно, он слопал! Немец, перец, колбаса, кислая капуста!

Огромная и призрачная фигура Фогхта вырастает над простором на горизонте в сумраке. Она выползает дымом из трубы нефтеперерабатывающего завода. Фогхт живёт в трубе, а по вечерам его выпускают наружу, как джинна из бутылки, и он душит всё живое. Душит за долги и просто так...

На ветках, процарапавших голубую высь, — тёмные, слегка размытые от подтаявшего снега пятна гнёзд и грачи.

Важные грачи.

Весна.

Большие горячие звёзды. Запах талого снега и земли...

Я стою на вокзале у кассы и покупаю билет до Кудымкара!